

Известия — 1992, 24 марта, — с 7

Слава и боль Алексея Попова

По решению ЮНЕСКО весь театральный мир отмечает 100-летие со дня рождения выдающегося русского режиссера

Пересматривается прошлое. Переименовываются города. Низвергаются памятники... А как быть с человеческой жизнью! Не улица. Не переименуешь. Как быть с нашими учителями! Их жизнь уложилась в то время, которое сегодня обозначено раз и навсегда — тоталитаризм.

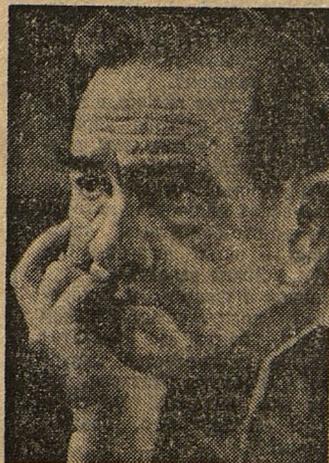
Выдающемуся режиссеру Алексею Попову в эти дни исполнилось бы 100 лет.

Его имя — слава русского театра. И слава, и боль. Он не был расстрелян. Не был отлучен от профессии. Более того, страна наградила его всеми почестями, он возглавлял театры, кафедру в ГИТИСе. Прославился постановками пьес, пафос которых сегодня перечеркнут жизнью, при жизни был назван «певцом советской темы», я застал еще театральные конференции, когда его именем дубасили по головам молодых режиссеров: «Нельзя! Попов бы...» и т. д. Как с этим быть? Сделать вид, что этого не было. Можно. Можно сказать, что Попов не ставил гигантский картонно-фанерный спектакль «Москва — Кремль». А ставил только прекрасные, полные поэзии и блеска: «Ромео и Джульетта», «Угрошение стрепитивой», «Давным-давно», и сделать вид, что всего остального не было. Это будет новая ложь. И это будет недостойно имени Алексея Попова. Недостойно прошлого, которое не выбирают. Оно — наша жизнь. И мы должны найти мужество честно говорить — было. Но мы обязаны понять эту жизнь во всей сложности своего времени. Мы не имеем права перечеркивать историю, более того, ведь мы сами не пришельцы с Луны — мы оттуда, из того же прошлого, и, может быть, это должно дать нам мудрость и покой в понимании тех, чья жизнь вобрала в себя все радости и горести. И кому обязан наш театр своей славой. Его страсть к гармонии, к созданию художественной целостности спектакля, его верность образному осмыслению драматургии, его влюбленность в актерские и режиссерские паузы, которые он исследовал и называл зонами молчания, его умение располагать в пространстве поражающие воображение народные сцены, где не только не терялась актерская индивидуальность, а, наоборот, как будто рождались крошечные, дыко вспыхивающие человеческие судьбы, его простота, интеллигентность, глубокая человеческая порядочность — все это на многие годы определяло уровень театров, где он работал, и прежде всего уровень

Центрального театра Советской Армии. Прошли десятилетия после его горького ухода, и если сегодня существует в Центральном Академическом театре Советской Армии преданность своему призванию и нормальная человеческая атмосфера и простота, — это Попов. И если волны борьбы, раздора, сведения счетов и злобы, захлестывавшие многие московские театры, нас еще не втянули в свой разрушительный водоворот, — это Попов. И если мы хотим, чтобы традиции Попова жили дальше, мы должны двигаться, двигаться, жить и стараться быть живыми — это и будет Попов.

У него были великие победы и страшные поражения, у него были очень верные друзья и немало врагов, и как бы ни складывалась эта неповторимая режиссерская жизнь, он никогда не был циником и возвышенное, святое чувство театра пронес в себе. До последнего мгновения. И до последнего мгновения в нем горел огонь. Он преобразил его.

Он взлетал на сцену, когда мы репетировали в ГИТИСе «Бюро Шекспира»; это был последний год его жизни, и его могучая, тяжелая фигура обретала юношескую легкость — мизансценические акценты, расставляемые им во время эпизода кораблекрушения, звучали, как мощные трагические аккорды. Его трудная, с большими паузами речь взрывала с огромной образной силой инерцию нашего мышления; мы были свидетелями напряженнейшей духовной работы — он говорил с нами о Шекспире, об эпохе Возрождения, любил и чувствовал это время больше всего и, кажется, сам был оттуда... В своем мешковатом пиджаке он становился изящным, и косопалые ноги обретали грациозность — это он показывал пластику Ариэля и Миранды, а руки его вздымались торжественно и величественно — это уже был Просперо, он репетировал с нами последний спектакль своей жизни. Он уже не работал в театре. Всегда уходят режиссеры из театров. Уходят. Уходили. Сколько примеров. Почему? Трагичны по-



следствия. Умирают режиссеры. Многие годы тяжело болеют театры. И тоже умирают. Но делают вид, что живы.

Он не работал в театре. И горечь, горькая горечь была в нем. Горечь памяти. Вся жизнь — в театре. Последние десятилетия — в одном из самых трудных театров, с огромной сценой, со сложным репертуаром. Сколько было, однако, сил! И сколько неистраченного лиризма, нежности, теплоты. Это прорывалось на уроках и поражало нас. Тончайший анализ Чехова, и удивительные показы, и разбор любовных сцен в «Буре».

Алексей Дмитриевич — мой учитель. Не так уж много фотографий нашлось в его архиве. Он не любил позировать. Но в конце жизни было сделано несколько снимков. Эта фотография висит у меня дома.

...Лицо в глубоких морщинах. Мохнатые брови, глубоко посаженные глаза. У него была трудная, медленная, на первый взгляд корявая речь. Жестикаляция и руки мастерового...

Он казался нам огромным. Фигура мощная, чуть неуклюжая, косопалая. Он не был легким, милым, обворожительным. Мы никогда не видели его самодовольным, вальяжным, холерным. Это был трудный человек, и судьба его была трудной.

Он учил нас всматриваться в лица людей. Много говорил о старости. О старости, которая итог жизни. О том, что старость — это огромное испытание. И огромное достоинство. Все зависит от состояния души. Учил презирать суету. И сам презирал ее. Особенно в старости.

Теперь я смотрю на его последнюю фотографию, и его лицо не кажется мне старым.

Леонид ХЕЙФЕЦ.

158